

Г. С. Кнабе

К БИОГРАФИИ ТАЦИТА. SINE IRA ET STUDIO

ИЗ РЕДКИХ и скупых свидетельств Тацита о своей жизни и творчестве ни одно не вызывало столько недоверия и иронии, сколько слова о том, что он рассказывает пережитую им историю *sine ira et studio* — «без гнева и пристрастия» (Тас., *Ann.* I, 1, 3). Сомнения в добросовестности этого признания проистекали из разных источников. Еще Вольтер и его современники полагали, будто изображение римского общества у Тацита настолько чудовищно, что не могло отражать действительность и порождено лишь гневом и пристрастием автора, ибо «что противоречит природе, постыдно для природы человека»¹. Тот же, в сущности, ход мысли лежит в основе и многих современных работ, особенно английских². Другая точка зрения, сложившаяся в середине прошлого века, состоит в том, что страстное отношение Тацита как гражданина и художника к событиям и людям, им описанным, его глубоко личный поиск исторической истины, исключают возможность повествования «без гнева и пристрастия» и делают этот афоризм формой, в лучшем случае, поэтического самообольщения, а в худшем — лицемерия. Провозгласив «*sine ira et studio*» типом своей историографической деятельности, «на самом деле Тацит дает тенденциозное, подчас проникнутое скрытой страстностью, изложение событий»³. Наконец, указывалось на то, что заверения в собственной беспристрастности не более чем клише, характерное для римских историков вообще и потому не выражающее ни подлинной мысли, ни подлинной позиции автора⁴.

¹ Voltaire, *Dictionnaire philosophique*, s. v., *Tacite*.

² Например, R. S. Rogers, *A Group of Domitianic Treason-Trials*, «*Classical Philology*», LV (1960), № 1, стр. 19 сл.

³ С. А. Жебелев, *Римская империя*, Пг., 1923, стр. 21. Ср. L. von Ranke, *Weltgeschichte*, Bd III, 2. Abt. *Analekten*: «В Тиберии Тацит резкими мазками, с ни с чем не сравнимым талантом, создал идеальный образ тирана-лицемера, но это не более как порождение умонастроения историка — действительность во всей своей полноте его не интересует». Эта точка зрения, как известно, лежала в основе целого направления в науке о Таците, представленного работами Г.-П. Зиверса (G. P. Sievers, *Tacitus und Tiberius*, Hamburg, 1850), Ч. Меривейла (Ch. Merivale, *A History of the Romans under the Empire*, L., 1856), Дюбуа-Гюшана (D u b o i s - G u c h a n, *Tacite et son siècle*, vol. I—II, P., 1864), М. П. Драгоманова (*Император Тибериус*, Киев, 1864; *Вопрос об историческом значении Римской империи*, Киев, 1869) и мн. др.

⁴ J. Vogt, *Tacitus und die Unparteilichkeit des Historikers*, «*Würzburger Studien*», IX, 1936; ср. примечание Р. М. Оджилви к Liv., praef. 5 (R. M. Ogilvie, *A Commentary on Livy Books 1—5*, Oxf., 1965, ad. loc.).

Все эти суждения обладают одной общей чертой — формула «sine ira et studio» рассматривается в них как политический, художественный или риторический прием. Между тем, если рассматривать эту формулу, исходя из биографии Тацита, она оказывается итогом долгого и сложного жизненного развития историка — итогом, ясно сказавшимся в его политическом поведении и общественной позиции при Траяне; в самом факте обращения его к литературному творчеству; в характере последнего. Эти три аспекта темы и рассматриваются в трех разделах нижеследующего очерка⁵.

1. Процесс Мария Приска

В начале лета 98 г. проконсул Африки Марий Приск по возвращении в Рим и сложении с себя магистратских полномочий был обвинен провинциалами в вымогательстве. Патронами провинциалов выступили по назначению сената Плиний Секунд и Корнелий Тацит. Следствие длилось полтора года и привело в январе 100 г. к осуждению обвиняемого. За приговор, предложенный Тацитом и Плинием, голосовал Траян, что и решило дело. Время этого процесса, его содержание и обнаружившаяся в нем расстановка сил в сенате делали его, по справедливому замечанию Плиния, «событием крупным и необычным»⁶.

Дело это было, насколько можно судить, первым большим сенатским процессом при новом императоре, и в курии к нему отнеслись так же, как в 14 г. к вопросу о разделении власти (Тас., Апп. I, 11—13; Dio Cass., LVII, 2) или в 70 г. — к назначению легатов к Веспасиану (Тас., Hist. IV, 6—8): с одной стороны, как к возможности для той или иной группировки сразу после смены власти добиться расположения нового принцепса, с другой, — как к пробному камню, который выявит отношение императора к сенату и общее направление его политики. Это обусловило те демаркационные линии, по которым разделилась курия в ходе процесса. Самая многочисленная группа сложилась вокруг главного защитника обвиняемого — Фронтон Катия. Он не столько обосновывал и доказывал, сколько «пустил в ход все средства, чтобы вызвать сострадание у слушателей» (Plin., Ep. II, 11, 3). Средства эти нетрудно себе представить. В глубине души почти каждый человек в курии еще со времен Верреса, Саллюстия и Вара был убежден, что провинции существуют для обогащения римлян и, в первую голову, сенаторов — убеждение, которому был не чужд еще император Август, но которое встречало растущее сопротивление Флавиев, пока, наконец, Домициан не отнял у сенаторов, вместе со многими другими, и их «право» беспредельно наживать в провинциях. Катий, по-видимому, дал понять, что Приск лишь неосторожно нарушил границы старинной сенаторской привилегии, в сохранении которой в принципе заинтересованы все, что эта его слабость должна быть близка и понятна сенаторам, еще недавно страдавшим от тирании последнего Флавия, и что поэтому согласие Траяна замять дело упрочило бы его союз с сенатским большинством, заинтересованным жить тихо и по старинке, подчеркнуло бы его сходство с Августом и его противоположность Домициану.

Внешне такой же, но внутренне совершенно иной была позиция многочисленной группы сенаторов, которые уже перед самым голосованием вновь попытались смягчить, насколько возможно, приговор Приску, огра-

⁵ О связи принципа «sine ira et studio» с более ранними этапами биографии Тацита и его магистратской карьерой см. ВДИ, 1977, № 1, стр. 124—144.

⁶ Plin., Ep. II, 11, 10. Это письмо, письмо II, 12 и краткие записки Плиния Траяну (там же, X, 3) и Траяна Плинию (X, 3В) представляют собой единственную группу источников, освещающих процесс Приска. Последующее изложение основано на них и, за исключением цитат, не сопровождается дополнительными ссылками.

ничиваясь взысканием присвоенных сумм, штрафом и моральным осуждением. Предложение это исходило от неизвестного Аквиллия Регула и отражало, тем самым, интересы *delatores*, которые в последние десятилетия чаще и больше всего занимались вымогательством⁷. После смены династии они оказались в немилости и теперь как бы предлагали Траяну союз и помощь в обмен на подтверждение их «права» обогащаться в провинциях. «Если рвение не вознаграждать, исчезнет и само рвение», — говорил в сходной ситуации один из идейных предшественников Регула императору Клавдию (Tac., Ann. XI, 7, 3). Исторический опыт учил их, что почти все императоры I в., сначала отворачиваясь от людей этого склада, в какой-то момент начинали их ценить и приближать к себе. Регул и его союзники надеялись, что такой момент настал.

Наконец, была группа, шедшая за сенатором Корнутом Тертуллом и настаивавшая на возможно более жестком приговоре. Тертулл так же ясно представлял сенатски-стоическую традицию, как Регул традицию *delatores*. Он был близок с семьей Гельвидиев, с врагом Домициана Кореллием Руфом, слыл «непреклонным борцом за правду» (Plin., Ep. II, 11, 19) и «точным образцом старинных добродетелей» (Plin., Ep. V, 14, 3). В вымогательстве он видел признак моральной деградации сената и относился к нему так же, как в свое время Тразея (Tac., Ann. XV, 21, 4) и Геренний Сенецион (Plin., Ep. VII, 33).

Каждая из этих группировок явно продолжала определенную общественно-политическую традицию нероновского и флавианского времени, и отличительной чертой ситуации в целом была верность сенаторов старым, действовавшим на протяжении всего I в. представлениям об отношениях сената и принцепсов. Существование в курии именно такой атмосферы подтверждается тем, что уже при начале разбирательства главным для сенаторов (точно так же как в 41⁸ и в 70 г.) оказался вопрос о пределах их компетенции, о наличии или отсутствии у них права принимать решения, независимость которых может показаться принцепсу опасной и оскорбительной.

Между тем, для такой оценки положения оснований не было, и действовала здесь чистая инерция. Законы о вымогательстве, введенные еще популярами II—I вв. до н. э. в ходе их борьбы с оптиматами⁹, продолжали использоваться и первыми принцепсами для подрыва финансового могущества старой сенатской олигархии¹⁰, но уже с Нерона главными любителями наживы в провинциях (и, соответственно, обвиняемыми в процессах такого рода) становятся чаще всего *delatores* — сплошь да рядом выскочки, только еще рвавшиеся к большим деньгам¹¹, а сторонниками жесткого применения *leges repetundarum* делаются люди стоической оппозиции

⁷ Начиная с 50-х гг. по обвинению в вымогательстве привлекались к ответственности такие видные государственные деятели из числа «*delatores*», как Суиллий Руф, Публий Целер, Коссудан Калитон, Эприй Марцелл, Вибий Секунд, Бебий Масса. Подробнее об этом см. ниже.

⁸ J o s ., Ant. Jud. XIX, 114—211; ср. D. T i m p e, Römische Geschichte bei Flavius Josephus, «Historia», Bd. IX (1960), Heft 4.

⁹ Два наиболее важных из этих законов — *lex Calpurnia* 149 г. до н. э. и *lex Servilia* 111 г. — были приняты по инициативе народных трибунов Л. Кальпурния Пизона и Г. Сервилия Главция; Юлиев закон (*lex Iulia repetundarum*), вошедший в Дигесты (48, 11) и определивший практику этих процессов на протяжении всей ранней империи, был проведен в 59 г. до н. э. Юлием Цезарем и ясно выражал позиции популяров — C i c., Pro Sest. LXIV, 135; In Vat. XII, 29; In Pis. XXI, 50; Pro Rab. IV, 8. См. также Н. В. М a t t i n g l y, The Extortion Law of the Tabula Bembina, JRS, 60 (1970), стр. 154 слл.

¹⁰ Дело Валерия Мессалы Водеза в 5 г., процессы Грания Марцелла в 15 г., Г. Юния Силана в 22 г., Г. Силлия в 24 г. и др.

¹¹ См. выше, прим. 7.

(как только что упомянутые Траезя и Сенецион). В системе принципата I в., таким образом, законы о вымогательстве не имели четкого социально-политического адреса. Этим обуславливалась также и «неклассическая» расстановка сил в сенате во время процесса Мария Приска, когда группа недавнего оппозиционера Тертулла оказалась наиболее последовательной защитницей интересов принципата, Аквиллий Регул, со времен Нерона терроризовавший сенатское большинство, теперь выступил солидарно с ним, а Траян, по всему судя, вообще не придавал делу большого значения. Между традициями сенаторского мышления и действительной ситуацией возникало противоречие, которое порождало атмосферу сомнений и растерянности. Она отразилась в беспрецедентном решении сената рассматривать дело Приска одновременно по двум взаимоисключающим судебным процедурам¹², она ясно чувствуется в описании судебного заседания у Плиния, и она же привела к тому, что все сенаторы, получавшие предложение выступить патронами африканцев, неизменно отказывались. В сложившихся условиях утверждение в этой роли Тацита и Плиния приобретало особый смысл. Дело в том, что пара патронов обычно составлялась как бы из основного защитника, связанного с данной провинцией родством, *amicitia* или службой, и второго лица, действовавшего из солидарности с первым. Ни Тацит, ни Плиний, насколько известно, никаких связей с Африкой не имели, тогда как в курии в эти годы были люди, чья связь с этой провинцией была долгой и тесной¹³. Мало этого. И Тацит, и Плиний тоже отказались от сделанного им предложения, отказ был принят, но некоторое время спустя руководство сенатом (в лице дезигнированного консула) пересмотрело свое первое решение и в необычно жестких формулировках настояло на том, чтобы роль патронов взяли на себя именно эти два лица, с точки зрения принятых норм менее всего для нее пригодные (Plin., Ep. X, 3, 2; ср. II, 11, 2). Объяснение, по-видимому, может состоять лишь в том, что эти люди рассматривались как не разделяющие всеобщей растерянности и способные подойти к делу с какими-то иными критериями, более соответствовавшими необычной ситуации.

Главным из патронов и центральной фигурой завершающего судебного заседания был не Плиний, а Тацит, как это видно из следующих обстоятельств. Согласившись, в конце концов, выступить патроном африканцев, Плиний обратился к Траяну с письмом, где уже *post factum* просил императора одобрить сделанный им шаг. Странная эта просьба была, очевидно, лишь предлогом, суть же письма заключалась в другом — Плиний прозрачно намекал в нем на ту позицию, которую намеревался отстаивать, и именно ее одобрение он хотел получить у принцепса. Состояла она

¹² Со времен Августа процессы о вымогательстве могли проводиться по одной из двух процедур. Первая состояла в том, что назначенные сенатом судьи констатировали факт вымогательства и определяли размер подлежащих возмещению сумм; они взвешивались с обвиняемого, чем, в сущности, наказание его и исчерпывалось (*pecuniis re-pretundis* в прямом значении слова). Вторая процедура применялась там, где сенат признавал, что вымогательство осуществлялось *cum saevitia* — «с жестокостью и насильем»; в этом случае проводилось расследование дела на месте, процесс приобретал уголовный характер, и наказание могло быть очень суровым, вплоть до конфискации имущества, исключения из сената, ссылки на острова. Приняв предложение дезигнированного консула Юлия Ферокса «пока что дать судей Марию, но вызвать людей, которые, по рассказам, покупали у чего осужденные невинных» (II, 11, 5), сенат соединил обе процедуры, т. е. фактически признал себя неспособным квалифицировать проступок Приска.

¹³ Хотя бы Домиций Тулл, командовавший в Африке войсками, бывший там же проконсулом и педший в этом по стопам брата, Домиция Лукана, который раньше управлял в этой же провинции обязанности квестора, легионного легата и проконсула. По данным М. Хэммонда (M. Hammond, *Composition of the Senate A. D. 68—235, JRS, XLVII (1957), стр. 77*) среди членов сената в это время было, кроме того, не меньше двух или трех человек африканского происхождения.

в том, чтобы *convenientissimum esse tranquillitati saeculi tui*, т. е. вести себя «в соответствии со спокойным духом твоего времени», что практически могло означать лишь одно: не накалять обстановку, обходить острые углы, решить дело компромиссом. Траян не повторил в своем ответе предложенную ему формулировку и оставил вопрос о направлении процесса открытым. Вскоре Плиний и Тацит выступили в сенате с официальным определением своего предварительного отношения к обвинению. Неожиданно оно оказалось резким, непримиримым и не имеющим ничего общего с предлагавшейся Плинием установкой на спокойный компромисс. Такой поворот дела, поскольку он находился в очевидном противоречии с первоначальной позицией Плиния, мог, следовательно, исходить только от его коллеги — Корнелия Тацита. Уклончивый ответ Траяна (Plin., Ep. X, 3 B), предоставлявший патронам своего рода *carte blanche*, позволил, очевидно, Тациту настоять на своей точке зрения, а Плинию на нее согласиться.

При самом разборе дела в сенате Плиний продолжал колебаться — содержание своей речи он не передает, но если бы она полностью соответствовала вынесенному и одобренному императором приговору, причины такой сдержанности в расказе о себе (Плинию отнюдь не свойственной) были бы непонятны; о своей неуверенности и сочувствии обвиняемому Плиний говорит и совершенно прямо — в письме II, 14. Таким образом, отклонение Плиния от линии поведения, принятой и заявленной патронами, видно и здесь, чем подтверждается, что то была линия Тацита. Стоит отметить также, что оппонентом Плиния был ничем не примечательный сенатор Клавдий Марцеллин, тогда как речь Тацита была ответом Сальвию Либералу, консулярию, выдающемуся оратору, находчивому и опытному, окруженному ореолом жертвы преследований Домициана, и принципиальному, убежденному защитнику староредовского взгляда, согласному которому провинции на то и существуют, чтобы сенаторы обогащались за их счет¹⁴. Он явно был центральной фигурой защиты, которой противостояла центральная фигура обвинения.

О речи Тацита известно только, что она была произнесена *eloquentissime et, quod eximium orationi eius inest, сερμῶς* («красноречиво и — что особенно присуще его речи — *сερμῶς*») (II, 11, 17). Противопоставление *eloquentissime* и *сερμῶς* показывает, что последнее характеризует не стиль, а суть мысли и речи, подход к делу: само слово «*сερμῶς*» означает в этом контексте «величественно», «возвышенно», «со строгой серьезностью», «по самой сути»¹⁵. Тацит, таким образом, не столько говорил о конкретном казусе и юридических частностях, сколько рассматривал происшедшее на фоне проблем «величественных и возвышенных», и именно они составляли суть его речи. Доступные данные позволяют заключить о ее характере и смысле следующее. Выдвинутое Тацитом предложение рассматривать дело по «полной» процедуре (см. прим. 12) означало не столько утяжеление наказания само по себе, сколько перевод всего процесса на иной уровень. Квалификация действий обвиняемого как *saevitia* выводила процесс за рамки законов о вымогательстве и предполагала нарушение обвиняемым ряда совсем других, коренных законов, регулировавших отношения государства к гражданам, — прежде всего, законов о разбое (*lex Cornelia de sicariis*) и о смертной казни римских граждан (*lex Iulia de vi publica*).

¹⁴ ILS, 1011; CIL, VI, 2065, II, 16 sq.; Suet., Vesp. 13; Plin., Ep. II, 11, 17; III, 9, 33—36; IX, 30 (?); RE s. v. (Groag).

¹⁵ Cp. P. Corneli Taciti Dialogus de Oratoribus... von A. Gudeman, Lpz — B., 1914 (репринт — Amsterdam, 1967), стр. 32, 162, 373; E. Norden, Die antike Kunstprosa, Bd I, 4. Aufl., Lpz — B., 1923, стр. 318 слл.; Plinius Minor, ed. M. Schuster, Lpz, 1958, стр. 53, прим.

Проступок наместника из неосторожного нарушения должностной этики становился компрометацией самих принципов римской власти в провинциях, т. е. преступлением против *lex maiestatis* — закона об оскорблении величия римского народа¹⁶. Разбор дела проворовавшегося сановника превращался в обсуждение норм общественного поведения сенатора и магистрата, т. е. — одного из краеугольных вопросов римской государственной жизни.

Именно такой характер стремились придать подобным процессам обвинители при Тиберии (Тас., *Ann.* III, 38, 1), Нероне (там же, XIII, 43,1—2), Домциане (Plin., *Ep.* VII, 33), и именно в нем были заинтересованы принцепсы I в. так как это давало им возможность политически уничтожать обвиненных сенаторов. Внешне положение повторялось: Тацит настоял на рассмотрении должностного преступления как государственного, Траян его поддержал, и сенатор был сослан. По существу, однако, ситуация была совершенно иной. Рубеж века знаменовал качественный сдвиг в эволюции сената — личные и идеологические связи его с республиканской традицией оказались окончательно прерванными, конфликт принцепса и сената — временно исчерпанным, роль преторианского террора — на какой-то период — сведенной на нет¹⁷. Траян, едва вернувшийся в Рим и только приглядываясь к обстановке, был заинтересован не в уничтожении сенаторов, а в союзе с ними, если даже не в потворстве им (Aur. *Vict.*, *Epit. de Caes.* 43, 21). Позиция Тацита, следовательно, не могла быть продиктована стремлением действовать по старой схеме и обвинить сенатора в оскорблении величия в угоду принцепсу; не случайно она нашла поддержку у людей, связанных с традицией сенатского стоицизма, и вызвала протест у людей, связанных с традицией *delatores*. В описанных условиях она могла лишь означать осуждение нарушителей официальных исторически сложившихся норм сенатского поведения, укрепление морального авторитета сената как высшего сословия, возвращение ему освященного традицией места в духовной жизни общества. Такой ход мысли был *επιμύς* — «величественным и возвышенным». Но непосредственно политического, тактического значения он больше не имел, и Траян мог себе позволить его поддержать; ему он ничем не угрожал, а стилизация под *princeps senatus*, соблюдающего старинные высокие нормы римской государственности, входила в его программу. Тацит, таким образом, не пытался угодить принцепсу в ущерб сенату, он думал и говорил об исторической судьбе этого грешного и многострадального сословия; *επιμύς* его мысли не противоречила в тот момент тактическим интересам императора, но и далеко не сводилась к ним.

Еще меньше могла она быть сведена к защите непосредственных, практических интересов сенаторов. Они увидели в позиции Тацита лишь угрозу этим интересам: «большинство было на стороне более снисходительного или мягкого решения» (Plin., *Ep.* II, 11, 24). Предложение Корнута Тертулла выразить от имени сената удовлетворение тем, как патроны выполнили возложенное на них поручение, не получило поддержки. Сенаторы мыслили по-старому и попросту, *pingui, ut aiunt, Minerva*, и не видели ничего хорошего в том, что нависает угроза над их товарищем, повинным в проступке, который могли бы совершить и многие из них. Рас-

¹⁶ M. J. Henderson, *The Process 'De Repetundis'*, JRS, XLI (1951), см. стр. 77—78, 87—88.

¹⁷ Достаточно вспомнить слова, сказанные Траяном Субурану Эмилиану при введении в должность этого первого им назначенного префекта претория: «Возьми сей меч и обрати его на мою защиту, пока я выполняю свой долг, и против меня, коли я его нарушу» (D i o C a s s., LXVIII, 16, 1 (2); A u r. V i c t., *De Caes.* XIII, 9; Plin., *Paneg.* 67, 8). Слова эти, если они действительно были произнесены, — поза и пропаганда, но ни один император I в. и думать не мог ни о такой позе, ни о такой пропаганде.

смотрение их сословия, его интересов и деятельности с точки зрения «величественной и возвышенной» их явно не устраивало.

Позиция Тацита в разобранном судебном процессе заключалась, таким образом, в защите чести сената в ущерб непосредственным материальным интересам самих сенаторов и в защите интересов императора, о которой тот не просил и которая не была ему безусловно выгодна. Нормы обществено-политического мышления флавианской эпохи оказывались за пределами утверждающейся системы, отодвигались в историческую перспективу, а это меняло смысл многих из них и, в частности, главного понятия старой римской аксиологии — *virtus*. Принято считать, что именно она в том неизменном ископном значении, которое было присуще ей в республиканские времена и в какой-то мере оставалось живым и на протяжении I в., составляла основу мировоззрения Тацита и до конца стояла в центре его общественно-исторического мышления¹⁸. Если рассматривать творчество Тацита в связи с его биографией, это положение требует пересмотра или, во всяком случае, уточнений. Поведение Тацита в истории с Марием Приском — а оно связано со всем жизненным развитием историка — бесспорно пример *virtus*, так как он исходил из соединения личной нравственной энергии и интересов *rei publicae* в их идеальном единстве. Но в новых условиях иной оказалась и *virtus* — из идеальной нормы политического поведения она становилась нормой философски-исторической, мерилем человеческого достоинства, не реализуемого в непосредственной деятельности на пользу той или иной группы или прослойке. Так Тацит понял *virtus* в пору обращения его к литературному творчеству, такой смысл сохранило это понятие в его позднейших сочинениях.

2. Комментарий к тексту: *Tac., Hist. I, 1, 3*

Несколькими годами позже процесса Приска Тацит счел необходимым во вступлении к «Истории» четко сформулировать свое отношение к флавианству, а через него и к окружающей его действительности. Речь идет об известной фразе в самом начале книги: «...*Dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam, a Tito auctam, a Domitiano longius provectam non abnue- rim*», или в русском переводе: «Не стану отрицать, что начало моему восхождению по пути почестей положил Веспасиан, Тит продолжил его, а Домициан вознес меня еще много выше». Эта фраза принадлежит к числу редких в сочинениях историка автобиографических свидетельств и потому много раз привлекала внимание исследователей, стремившихся установить, какие магистратуры занимал Тацит при том или ином из императоров Флавиев. В XIX веке на этот вопрос чаще всего отвечали так, что а *Vespasiano inchoatam* означает квестуру, а *Tito auctam* — эдилитет, а *Domitiano provectam* — народный трибунат и претуру¹⁹. Сейчас принято считать, что первый из Флавиев даровал будущему историку сенаторское достоинство, второй — квестуру, а последний — претуру и одну из должностей,

¹⁸ основополагающей для такого понимания Тацита является работа F. Klingner, Tacitus, «Die Antike», Bd VIII, 1932 (перепечатана в F. Klingner, Römische Geisteswelt, 4. Aufl., München, 1956). Взгляды, в ней высказанные, встречают растущее признание и поддержку. См.: K. Vühner, J. V. Hofmann, Lateinische Literatur und Sprache in der Forschung seit 1937, Bern, 1951; B. Walker, The Annals of Tacitus, Manchester, 1952, стр. 154: «главная тема Тацита — смертная агония римской *virtus*»; J.-L. Laugier, Tacite, P., [1969].

¹⁹ В. И. Модестов, Лекции по истории римской литературы, СПб., 1888, стр. 703; P. Cornelius Tacitus, Ab excessu divi Augusti. Erklärt von K. Nipperdey — G. Andresen, Bd I, 10. Aufl. B., 1904, Einleitung, стр. 6; Ph. Fabia, La carrière sénatoriale de Tacite, «Journal des Savants», 1926, № 5, стр. 195.

ей обычно предшествовавших²⁰. Последняя точка зрения, по всему судя, справедлива. Тацит, однако, не только государственный деятель, он еще и великий мыслитель и писатель; этапы и ход его идейного развития не менее, а несравненно более важны, чем должности, которые он занимал. Приведенная цитата дает возможность проникнуть и в эту сторону дела, на что до сих пор, кажется, внимание не обращалось. Реализация этой возможности связана с истолкованием слов *non abnuerim* — «не стану отрицать».

Выражение это примечательно в нескольких смыслах. Отрезок текста, в который оно входит, начинается с *mihi*, стоящего под сильным логическим ударением и противопоставляющего автора его предшественникам и современникам: *postquam bellatum apud Actium... veritas pluribus modis infracta... libidine adsentandi aut rursus odio adversus dominantes... neutris cura posteritatis — m i h i Galba, Otho, Vitellius nec beneficio nec iniuria cogniti,— dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam... и т. д.* Такое построение внутренне связано с потенциальным употреблением конъюнктива в *non abnuerim*. Сочетание обоих моментов заставляет слышать здесь некоторое подразумеваемое *autem* («Я же не хотел бы...», «Что до меня, то я не желаю и не стану...», «Мне нет надобности...») и дает почувствовать в этой формуле изъявление воли, утверждение определенной позиции, противопоставляемой некоторой другой. Такое восприятие разбираемой фразы подтверждается и смыслом всего вступления к «Истории», в которое она входит. Как известно, оно представляет собой развернутую художественную и идейную декларацию, которую предпослал своему наиболее совершенному сочинению Тацит. Естественно, что каждое предложение здесь соотнесено с решением общей задачи этого своеобразного манифеста. Перед нами, таким образом, фраза, связанная с идейным и жизненным самоопределением Тацита, вступающего в зрелый период своего творчества — формула, которую необходимо раскрыть.

Видеть в ней выражение преданности императорам Флавиам и защиту их режима нет никакой возможности. И то вступление к «Истории», в котором фигурирует разбираемая фраза, и вся книга в целом, и предыдущие сочинения Тацита откровенно враждебны прошлой династии. Это шло в русле идей времени. Связь свою с Домицианом *abnuerunt* все. Деятельность его, как известно, была осуждена сенатом²¹, статуи уничтожены (Plin., *Paneg.* 52), имя подвергнуто *damnatio memoriae* (Suet., *Dom.* 23). Последнее постановление проводилось в жизнь на редкость последовательно²², и в эпиграфике имя последнего Флавия обходится даже в тех случаях, когда близость прославляемого в надписи лица к Домициану и покровительство, оказанное ему последним, были общеизвестны. Таковы, например, надписи сенаторов Лициния Суры (CIL, VI, 1444) или Глития Агриколы (CIL, V, 6974—6983), прокуратора Миниция Итала²³. «Остальные надписи, составленные при Траяне, также обходят молчанием имя этого императора»²⁴. С двумя первыми Флавиами положение было слож-

²⁰ R. S y m e, Tacitus, vol. I, Oxf., 1958, стр. 64 сл.; E. K o e s t e r m a n n, Cornelius Tacitus. Annalen, Bd I, Heidelberg, 1963, стр. 11.

²¹ Plin., Ep. X, 58, 7—10; ср. A. N. S h e r w i n - W h i t e, The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary, Oxf., 1966, ad loc.

²² S. G s e l l, Essai sur le règne de l'empereur Domitien, P., 1894, ch. XX.

²³ Это был тот самый прокуратор Азии, который в 88 г. убил по поручению Домициана проконсула провинции Цивики Цереала и, вопреки всем нормам и традициям, был назначен на его место. Такое назначение свидетельствовало об исключительном доверии со стороны императора, вызвало широкий резонанс и сохранилось надолго в памяти современников. Тем не менее и в его эпитафии (CIL, V, 875) имя Домициана опущено. Ср. H.-G. P f l a u m, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain. Thèse complémentaire, t. I, P., 1960, стр. 141—143.

²⁴ Там же, стр. 143; ср. ILS, 1025, n. 2.

нее. Оба они были *divi* — и до 96 г. упоминаются в надписях неизменно и повсеместно; после смены династии имена их также не подвергались никаким официальным запретам. Они фигурируют в надписях и сенаторов, и прокураторов, в том числе таких, которые пользовались покровительством первых Антонинов, — например, консулярия Урса Сервиана (CIL, VI, 1548) или прокуратора Велия Руфа (ILS, 9200). Существуют, однако, и надписи, где их имена опущены: такова ILS, 1025 — эпитафия Росция Элиана, консула 100 г., скорее всего, ровесника Тацита, начинавшего служить, следовательно, как и наш историк, при Веспасиане или Тите. Имена первых Флавиев не фигурируют и в надписи Титиния Капитона (ILS, 1448 = CIL, VI, 798) — *ab epistulis* и *a patrimonio* Домициана, а затем Нервы; его карьера, однако, началась еще при Нероне (Plin., Ep. I, 17, 4) и, во всяком случае, продолжалась при всех Флавиях²⁵. В надписи знаменитого юриста и военного деятеля Яволена Приска (ILS, 1015)²⁶ также не упоминаются ни Веспасиан, давший ему латиклаву, ни Тит, чьим судопроизводителем в Британии он был. Упоминание имен первых Флавиев или опущение их было, таким образом, делом выбора, т. е. выражением позиции.

Смысл ее можно обнаружить, обратившись к эпиграфике Плиния Младшего и к произведениям этого писателя. В его парадной надписи ILS, 2927 = CIL, V, 5262 не упоминается ни один из Флавиев, хотя при них протекала добрая половина его магистратской деятельности и хотя он был жрецом культа Тита (CIL, V, 5667)²⁷. Его «Письма» свидетельствуют о том, что это не было случайностью: во всей объемистой книге Веспасиан упомянут четыре раза, Тит — два (при этом первый лишь дважды назван *divus*, второй — ни разу), и все упоминания о них очень сухи. Эти внешние детали выражали не просто вкус Плиния, а определенное направление в сенатском общественном мнении, определенное отношение к режиму Траяна. В «Панегирике» имена первых Флавиев почти не встречаются, Домициан тоже называется по имени относительно редко, и это очевидным образом связано с главной задачей речи: противопоставить старый принципат в целом — новой римской государственности, воплощенной в Траяне²⁸.

Плиний был не одинок. Титиний Капитон, который также *abnuit* в своей эпитафии связь с Флавиями, прославлял сенаторов-аристократов, погибших от террора прежних императоров (Plin., Ep. I, 17), и составлял мартирологи, призванные разжечь ненависть к памяти Домициана, его недавнего покровителя (там же, VIII, 12, 4—5). То, что он был при этом ближайшим сотрудником Нервы и Траяна, указывает на заинтересо-

²⁵ На это указывают: тон письма Плиния VIII, 12, уместный лишь, если речь идет о старом человеке; служба Капитона на прокураторских должностях, начатая при Домициане, по предпологавшая до того долгую службу в легионах; упоминание (Plin., Ep. I, 17, 4) о том, что Капитон пользовался покровительством Юнийев Силанов — они вряд ли могли его оказывать после разгрома этого рода при Нероне. Другая точка зрения (никак не аргументированная) — в кн. Е. Рагагоре, Tacito. Milano, 1951, стр. 229.

²⁶ См. ВДИ, 1977, № 1, стр. 131—132.

²⁷ Такого рода должности на родине или в покровительствуемых городах были нередки. Кальпурний Фабат, дед жены Плиния, был *flam(en) divi Aug(usti)* в Комуме (CIL, V, 5267), некий Миниций Эксорат — жрецом Тита, скорее всего там же (CIL, V, 5239); сам Плиний упоминает о своем покровительстве жителям Тиферна, для которых он «на свои средства построил храм» (Ep. IV, 1, 4—5). Обильный дополнительный материал в кн. М. Крашениников, Римские муниципальные жрецы и жрицы, СПб., 1891, стр. 16 и 107.

²⁸ Plin., Paneg. 2; 3; 11; 14; 16—17; 20; 24; 27; 33 и т. д. О том, что Домициан лишь довел до конца тенденции, заложенные в правлении Нерона, Веспасиана, Тита, — там же 11; 42; 43.

ванность первых Антоппиов в подобных настроениях²⁹, которые помогали обосновать взгляд на правление Нервы и, особенно, Траяна как на высшую форму римской государственности, противопоставляемую режиму Флавиев, знаменовавшему ее упадок. Обоснование особого, высшего характера Траянова правления через контраст его с предшествующим режимом носило официозный характер, — оно нашло себе отражение и в обращенных к императору (подобно тому, как обращен был к нему «Панегирик» Плиния) речах Диона Хрисостома (Dio Chrys., I, 33; 50; III, 13). При таком подходе осуждения одного Домициана было недостаточно — Нерва и Траян оказывались бы в подобном случае лишь очередными хорошими государями, сменившими очередного плохого. Все дело было в том, что, согласно внедрявшейся схеме, Нерон и Флавии — это единая эпоха, единый принципат, плохой и ушедший в прошлое, а Траян открывает новую эру и должен восприниматься как воплощение нового, в основе своей иного строя, человеческого и идеального, поддерживаемого всеми порядочными людьми. Соответственно, связь свою с Флавиями *abnuent* те, кто готов был видеть в становящемся режиме Антонинов идеал *res publica Romana*. Тацит не только заявил во всеулышание, что не хочет этого делать, но не отрекся даже от связи с официально осужденным и официально неупоминаемым Домицианом. Это было прямым нарушением общепринятого тона и почти грубостью по отношению к Траяну, который любил противопоставлять себя последнему Флавию (Plin., Ep. X, 97, 2), но еще больше любил слушать, как это делают другие (Plin., Paneg. pass.; Dio Chrys., loc. cit.). Вспомним, однако (и это здесь самое главное), что такое заявление ни в коей мере не означало для Тацита реабилитации, исторической или нравственной, пережитой эпохи и флавиянского режима, которые он тут же назвал «временем диким и неистовым» (Hist. I, 2, 1), а несколькими годами раньше — «порой рабства и нескончаемых гонений» (Agr. 2). Позиция, заключенная в анализируемой фразе, означала в существовавших условиях не апологию одного режима или осуждение другого, а понимание относительности и флавиянской, и антониновской государственности, относительности основных политических направлений переживаемого Тацитом времени; означала готовность понимать историю *neque amore et sine odio* — «не поддаваясь любви и не зная ненависти». Слова эти идут у Тацита непосредственно вслед за *non abnuerim*.

Если учесть теперь, что в *cursus honorum* Тацита уже довольно рано выявилось двойственное отношение будущего историка к политической практике принципата I в. (см. прим. 5), что в процессе Мария Приска он продемонстрировал свое нежелание активно защищать материальные и непосредственно политические интересы обеих охарактеризованных выше групп, борьба которых составляла атмосферу и фон его прежней деятельности магистрата; что с самого начала литературного творчества он выступил с разоблачением Флавиев как *infensi virtutibus*, но отказался отрицать свою былую связь с ними, дабы не предстать апологетом новых властителей — смысл разбираемой декларации становится очевидным. Слова о «*neque amore et sine odio*» или, в позднейшей формулировке, «*sine ira et studio*» означали понимание исторической ограниченности основных политических тенденций времени и внутреннюю непринадлежность историка ни к одной из них. И это понимание, и эта позиция явились итогом долгой и сложной эволюции Тацита. Афоризм «*sine ira et studio*» выражал жизненную установку, определившую обращение его к литературной деятельности.

²⁹ Траян восстановил выпуск некоторых типов монет республиканского времени, в частности и с легендой LIBERTAS BRUTUS (CBM, III, стр. 135, № 684, табл. 22, 27). Ср. J. M. C. Toynbee, Dictators and Philosophers in the First Century A. D., «Greece and Rome», XIII (1944), № 38, стр. 45.

3. Тацит и Цицерон. *Incondita ac rudi voce*

Слова Тацита о том, что он пишет историю «без гнева и пристрастия», действительно, совпадая внешне с обычными риторическими заверениями римских историков в непредвзятости³⁰, внутренне глубоко от них отличны³¹, ибо вытекают, как мы только что убедились, из всего хода биографии Тацита. За ними стояла не риторика, а жизнь. Вывод, в них заключенный, делал естественным перенесение центра тяжести этой жизни из сферы деятельности в сферу слова: если духовные ценности, созданные в ходе истории Рима, и, прежде всего, *virtus*, сохраняли все свое значение и непреложность, и если, с другой стороны, ни одна из представленных на политической арене общественных сил не могла выступить как их воплощение и защита, то борьба за утверждение их должна была естественно переместиться для Тацита из области практической политики в область духовной и словесной активности, воплотиться в рассказе о *virtus* и ее судьбах. «Я считаю главной обязанностью летописи сохранить память о проявлениях доблести (*ne virtutes sileantur*) и противопоставить бесчестным делам и словам устрашение позором в потомстве» (Ann. III, 65, 1). Обе эти мысли — о свободе историка от «гнева и пристрастия» и об утверждении *virtus* как главной задаче исторического труда — идут параллельно через все творчество Тацита³², выявляя тем самым внутреннюю взаимосвязь. Именно эта взаимосвязь делала исторические сочинения Тацита принципиально новым явлением римской культуры.

В начале первого же из них (Agr. 3,3) он говорит, что поведет свой рассказ *incondita ac rudi voce*, т. е. что речь его будет как бы еще невыработанной, неразработанной и необработанной, сырой. В устах человека, чья литературная слава была в расцвете почти за двадцать лет до того, «красноречивейшего», по словам Плиния (Ep. II, 1,6), политического деятеля своего времени, бесспорно, обрабатывавшего и издававшего (как всякий видный оратор той поры) свои речи, теоретика языка и стиля, — такое признание не могло означать литературной неопытности. Смысл его мог быть только в том, что характер, стиль и тон задуманного повествования будет непривычным, не имеющим традиций, отличным от общеприятного и освоенного. Такое понимание приведенных слов подтверждается характерным для Тацита общим отрицательным отношением к его предшественникам³³: желание создать историческое сочинение нового типа логически вытекало из неудовлетворенности существовавшими историческими трудами. Причины этого положения раскрываются все в той же первой главе «Истории». Указав на отрицательные черты историографии раннего принципата, Тацит непосредственно переходит от этой темы к разобранному нами выше заявлению о своих отношениях с Флавиями, после чего следует первая формулировка принципа *sine ira et studio*: «*Sed incorruptam fidem professis neque amore quisquam et sine odio dicendum est*» — «но тем, кто решил хранить верность нерушимой³⁴, следует вести свое повествование,

³⁰ L i v., praef., 5. Сводку сходных мест и комментариев к ним см. в кн. E. H o w a l d, *Vom Geist antiker Geschichtsschreibung*, München — В., 1944, стр. 199.

³¹ Об удивительной способности Тацита насыщать традиционные мотивы и общие места римской литературы новым, глубоко личным содержанием см. K. V ü c h n e r, *Tacitus und Ausklang*, 1964, стр. 23 слл. Применительно к формуле «*sine ira et studio*» эта же мысль была высказана и по-новому аргументирована в докладе румынского исследователя Э. Чизека на ереванской конференции «Эйрене» в мае 1976 г. (E. C i z e k, *Sine ira et studio et l'image de l'homme chez Tacite*).

³² T a c., Agr. I, 1—2; Hist. I, 1, 3; III, 51, 25; Ann. I, 1, 3; IV, 33.

³³ T a c., Hist. I, 1—2; 10, 3; II, 37; 101, 1; III, 32, 2—3 etc.; Ann. IV, 33 etc. Ср. A. B r i e s s m a n, *Tacitus und das flavische Geschichtsbild*, Wiesbaden, 1955.

³⁴ См. ниже, стр. 128.

не подаваясь любви и не зная ненависти». В этой главе продумано каждое слово и каждый мельчайший шаг в движении мысли; все три приведенных положения, следовательно, на первый взгляд никак друг с другом не связанные, образовывали для Тацита строго логичное единое целое. Задача состоит в том, чтобы понять их внутреннюю необходимую взаимосвязь.

Все римское историописание делится здесь для Тацита на два периода — до и после установления принципата. На протяжении первого из них оно было красноречиво, вольно и талантливо, на протяжении второго — лживо. Лживость эта существует в двух внешне различных, но внутренне сопряженных формах — в виде угождения принципсам и в виде нападок на них: *libidine adsentandi aut rursus odio dominantans*. Но для верхних слоев римского общества I в. вся общественная жизнь и идеология определялись борьбой императорского единодержавия с сенатски-республиканской традицией и в этом смысле сводилась к «желанию польстить властителям» или, напротив, к «ненависти к ним». Ставя знак равенства между этими двумя позициями и подвергая их равному осуждению, Тацит-историк теперь как бы отрицал возможность и необходимость выбора в политической борьбе, которая заполняла пережитую им эпоху и давала себя знать еще и в момент обращения его к литературной деятельности. Такой подход, действительно, был неожиданным и неслыханным, потому что возможность и необходимость выбора, участие на его основе в общественных конфликтах эпохи, отстаивание в них своей линии искони было главной заповедью гражданского поведения всякого *vir bonus*, основой реализации его *libertas*, и историки I в. в той или иной форме и степени продолжали мыслить в рамках этой системы. Поэтому столь важное значение приобретает оценка Тацитом в эту пору главного идеолога *bonorum* и самого яркого защитника их *libertatis*, наиболее полно выразившего самые основы этого хода мысли — Цицерона. Отношение к нему историка во многом раскрывает смысл выражения *incondita ac rudi voce*, особенности творческого метода Тацита в ранних произведениях и место его в истории римской литературы.

Первые сочинения Тацита обнаруживают повышенный интерес автора к Цицерону и глубокое знание его речей, писем, трактатов; по-видимому, он в это время усиленно изучает произведения великого республиканского оратора. Цицероном навеяна первая же фраза «Агриколы»³⁵, и скрытые цитаты из его книг или ассоциации, ими вызванные, обнаруживаются в этом произведении неоднократно³⁶. Они отмечаются даже в «Германии», в общем принадлежащей совсем иному стилистическому кругу³⁷, и концентрируются до максимума в «Диалоге об ораторах». Цицеронианство «Диалога» обращало на себя внимание издателей и критиков

³⁵ «Clarorum virorum facta moresque posteris tradere...» — ср. *C i c.*, *Tusc.* I, 2, 3; *solitos esse in epulis canere convivas ad tibicinem de clarorum virorum virtutibus*; ср. также *Brut.* XIX, 75.

³⁶ Упоминаемых в I, 3 Рутилия и Скавра особенно высоко ценит Цицерон (*De Orat.* I, 229; *Brut.* XXIX, 112), и к нему восходит само их сопоставление (*Brut.* XXX, 113). Эффективное окончание второй главы: *si tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere* повторяется у Цицерона дважды — *Acad. pr.* I, 2 и *pro Flacc.* XXV, 61. Образ «поля, открывающегося доблестям» (*Agr.* 8, 2) прямо заимствован у *C i c.*, *pro Mur.* VIII, 18. Список примеров может быть продолжен.

³⁷ Ср. *T a c.*, *Germ.* 9: *cohibere parietibus deos* — *C i c.*, *De rep.* III, 9, 14; *De leg.* II, 10, 26. *T a c.*, *Germ.* 16: *suffugium hiemis* — *C i c.*, *De leg. Man.* XIII, 39. *T a c.*, *Germ.* 19: *saepa pudicitia* — *C i c.*, *Parad.* IV, 1; *T a c.*, *Germ.* 19: *poena praesens* — *C i c.*, *De div.* II, 59, 122. *T a c.*, *Germ.* 26: *sola terrae seges imperatur* — *C i c.*, *Cato*, 15, 51: *terra quae numquam recusat imperium* (совпадение особенно показательное, так как это сочетание встречается во всей римской литературе считанное число раз: кроме *V e r g.*, *Georg.* I, 99 и *S e n.*, *De tranqu. animi* 17, 5, примеров, кажется, не видно). *T a c.*, *Germ.* 46: *partemque praedae petunt* — *C i c.*, *Tusc.* III, 20, 48.

на протяжении столетий и с конца XIX в. признается за бесспорный факт³⁸. Оно и в самом деле очевидно: в этом очень ограниченном по объему произведении содержится 27 упоминаний о Цицероне, 19 ссылок на самые разные его сочинения, не менее 10 прямых текстовых перекличек с ними³⁹; форма услышанной в юности беседы наставников автора, передаваемой ныне со всей точностью по настоянию друга, воспроизводит форму «Лелия», так же как образ Апра воссоздает образ Антония из трактата «Об ораторе», а тон, атмосфера, шутливые аналогии между ученым спором и судебным заседанием — тон и атмосферу этого произведения Цицерона.

Особый интерес к Цицерону был характерен на рубеже I и II вв. не только для Тацита, но и для других лиц его круга и представляется поэтому явлением не узко личным или литературным, а историческим и общественным. Не приходится напоминать о том, каким пиететом окружены имя Цицерона и его взгляды в «Наставлении» Квинтилиана, появившемся в середине 90-х гг. Автор не скрывал, что задача его книги — возродить уважение к Цицерону после долгого периода непризнания и хулы (Quint., IX, 4, 1—2; XI, 1, 17 sq.; XII, 1, 16—17). В переписке Плиния reminiscenции из Цицерона и хвалебные упоминания о нем сосредоточены, главным образом, в первых книгах, относящихся к 98—105 гг., т. е. ко времени, совпадающему с ранним периодом творчества Тацита. Здесь он называет Цицерона «нашим» (I, 1, 4), ссылается на формулы приветствий, особенно часто у него встречающиеся (I, 11, 1), признается в своем стремлении «сравняться с ним в литературных трудах» (IV, 8, 4). Письма Плиния показывают также, что и у его друзей и корреспондентов имя, мысли, слова Цицерона были в это время постоянно на устах (I, 5, 14, ср. Cic., Pro domo sua, XVIII, 48; Plin., Ep. IV, 8, 4).

Положение это объясняется тем, что именно на рубеже столетий наследие Цицерона и весь его образ приобрели особую актуальность. Квинтилиан окончательно утвердил за Цицероном положение Оратора с большой буквы, признал его нормой и воплощением красноречия. Для этого были объективные основания, связанные не только с талантом Цицерона, но, в первую очередь, с его пониманием ораторского искусства и слова вообще, их роли в римском обществе. Суть, смысл и непреходящая ценность последнего состояла для Цицерона в том, что оно есть *res publica* — «народное дело». Кровная заинтересованность граждан в судьбах родного города и соотнесенность государственного дела с делом каждого гражданина приводили, по его мнению, к тому, что главной формой политической активности становились спор и борьба мнений, столкновение взглядов на наилучший путь развития Рима, убеждение словом; а главной фигурой становился человек, владеющий словом и потому — искусством убеждать⁴⁰. Динамическое неустойчивое, но непреложно живое, человеческое и страстное, единство гражданина и Города воплощалось в *virtus*⁴¹, а главным путем реализации последней была борьба за интересы государства не только оружием на поле боя, но для Цицерона, прежде всего, сло-

³⁸ R. B. Steele, The Authorship of the «Dialogus de Oratoribus», *AJPh*, XVII (1896), № 3; A. Gudeman, в кн. P. Cornelii Taciti Dialogus de Oratoribus... (см. выше — прим. 15), стр. 86: «Тот факт, что среди этих образцов (которым Тацит следовал в „Диалоге“.— *Г. К.*) первое место занимает Цицерон, столь же естественен, сколь и бесспорно очевиден»; K. Wagrick, *Der Dialogus de Oratoribus des Tacitus*, В., 1954.

³⁹ Gudeman, ук. соч., стр. 86—87.

⁴⁰ K. Büchner, *Studien zur römischen Literatur*, Bd II. Cicero, Wiesbaden, 1962; Г. С. Кнабе, Цицерон..., в кн. «История философии и вопросы культуры», М., 1975, стр. 77 слл.

⁴¹ С. Л. Утченко, Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики, М., 1952, стр. 56.

вом — в суде, на форуме, в курии; словом, которое и было для него всегда оружием — подлинным и единственным достойным свободной республики⁴². Поэтому созданный Цезарем режим, при котором основные государственные, военные и политические решения принимались диктатором без обсуждения в сенате и на форуме, означал для Цицерона копец красноречия и слова.

Как известно, принципат на протяжении I в. (а во многом и позже) сохранял республиканские формы управления и в официальной своей идеологии ориентировался на ценностные представления республики. Поэтому и для ораторского искусства идеальной нормой оставалось цicerоновское красноречие. «Мы называем словом оратор только тех, кто жил в древности, тогда как наши умеющие хорошо говорить современники именуется нами судебными стряпчими, защитниками, правозаступниками, как угодно, но только не ораторами» (Тас., Dial. 1, 2). Между тем в этой области, как и во всех других, реальное содержание исторических процессов уводило принципат все дальше от республиканских представлений. Общественная основа, на которой возникла цicerоновская теория ораторского искусства, достаточно иллюзорная и в его время, распадалась на глазах и превращалась в чистую утопию.

Это порождало ряд следствий. Прежде всего — общее ощущение того, что упорядоченное общество принципата, подчиненное единому властителю, не может явиться почвой для развития ораторского искусства, которое поэтою и переживает непреходящий кризис. Жалобы по поводу *conruptae eloquentiae* тянутся через весь I век, сгущаясь к его концу⁴³. Во-вторых, верность цicerоновскому пониманию красноречия и общественной роли слова становится скрытой формой оппозиции императорскому режиму. В одном из судебных заседаний 90-х гг. Аквиллий Регул выступил против Плиния и, стремясь скомпрометировать его и отделить его от близкого к Домициану второго защитника, Сатрия Руфа, сказал, что «Сатрий Руф не соревнуется с Цицероном и доволен современным красноречием». Плиний смолчал (что лишь доказывает, насколько жгучей и опасной была затронутая тема), но при первой же возможности, сразу после смерти Домициана, ответил Регулу: «Я, действительно, соревнуюсь с Цицероном и, действительно, недоволен современным красноречием» (Plin., Ep. I, 5, 11—12). Смысл этого инцидента был в том, что ориентация на Цицерона предполагала повышенный и личный интерес к государственным делам⁴⁴, а потому несла в себе определенное недоверие к божественной и всеулаживающей мудрости принцепса. Наконец, чем дальше заходил в жизни процесс эллинизации Римской империи, чем больше

⁴² Такое понимание ораторского искусства глубоко уходило корнями в римскую традицию. Список *virtutes*, которые перечислял в надгробном слове по своему отцу в III в. до н. э. Кв. Цецилий Метелл, открывается словами: «быть воином в первых рядах, быть наилучшим оратором и доблестным полководцем» (H. Malcovati, *Oratorum romanorum fragmenta*, 2 ed., Torino, 1955, стр. 10). В известном определении оратора у Катона «*vir bonus dicendi peritus*», перенятом впоследствии Цицероном и Квинтилианом, *bonus* означает не «добрый», а «дельный», «приносящий пользу себе и людям», ср. A. Micheli, *Les rapports de la rhétorique et de la philosophie dans l'oeuvre de Cicéron*. Thèse..., P., 1960, стр. 4 слл.

⁴³ Vell. Pat., I, 16—17; Sen., *Controv.* I pr., 6 слл.; Sen., *Ad Lucil.* 114; Petr., *Sat.* 1, стр. 88; Plin., N. h. XIV, pr., 3 сл. Сочинение Квинтилиана, специально посвященное причинам упадка красноречия, как известно, до нас не дошло. Из греческих памятников, посвященных этой теме, наиболее значителен анонимный трактат «О возвышенном», относящийся, скорее всего, к середине I в.

⁴⁴ Описывая смерть в 97 г. врага Домициана сенатора Кореллия Руфа, Плиний говорит, что он *decessit superstitibus suis, florente republica, quae illi omnibus carior erat* (Plin., Ep. I, 12, 11). Это — цитата из Цицерона (*Fam.* II, 15: *ipsa re publica nihil mihi est carior*).

сближался внутренне принципат с монархией, тем более острым становился конфликт между имперской реальностью и набором староримских *virtutes*, который продолжал официально признаваться обязательным и верность которому продолжала считаться признаком общественной порядочности (*honestum*). Для людей, исходивших из этой консервативной фикции принципата, отношение к политике принцепсов, к положению сената, к борьбе сенаторов «стоиков» и «доносчиков» как к важнейшему личному делу предполагалось естественным и морально обязательным. Цицерон, для которого не было «ничего на свете дороже государства» (*Cic., Ad fam. II, 15, 3*), наиболее полно воплощал такое отношение к сенатской борьбе и воспринимался поэтому как актуальная политическая фигура, почти как современник (ср. *Tac., Dial. 17; 18, 2; 22*), вызывал тот повышенный интерес, который был отмечен ранее.

Вытекавшее из этой позиции понимание слова как оружия в общественной борьбе реализовалось в I в., главным образом, не в красноречии как таковом (для речей в духе Цицерона не было ни места, ни возможностей, ораторский же пыл Эприя Марцелла или Вибия Криспа был несовместим ни с идеями Цицерона, ни с правилами его риторики), а в той особой его форме, каковой почиталась историография. «История... есть труд, более всех других подходящий для оратора», — писал еще сам Цицерон (*De leg. I, 2*) и, убедившись, что условия больше не благоприятствуют политическому красноречию, задумывал исторический труд, посвященный современным ему событиям (там же, I, 3, 8). Традиционное для Рима восприятие слова историка как того же слова-оружия, используемого для продолжения политической борьбы, после того как исчерпались личные (т. е. возрастные) или объективные (т. е. общественные) возможности ораторского его применения, в данном случае вытекало из общего мировоззрения Цицерона и осталось характерным для всей последующей историографии — вплоть до историков флавийской поры. Слова Непота о Катоне: «Смолоду он выступал с речами, в старости стал писать историю» (*Corn. Nep., XXIV, 3, 3*) имели значение универсальной формулы. С этим связаны и откровенная тенденциозность историографии I в., целиком втянутой в борьбу принцепсов с сенатом⁴⁵, и обилие репрессий, которым в I в. подвергались историки, и общее отношение к их труду как к занятию крайне рискованному⁴⁶. Обращение к истории было для них утверждением непосредственно политической позиции и выражением верности той общественной группе, которая эту позицию представляла⁴⁷.

Прожитая жизнь и раздумья над ней приводили Тацита к совершенно иному пониманию римской действительности, римской истории и задач историка. Общий характер его *cursus*'а показывал, что необходимость и возможность для человека реализовать себя целиком в практической политической деятельности и в *этом* выражающееся, *так* понимаемое, единство гражданина и государства перестали быть для него аксиомой. Поведение его в процессе Мария Приска и нежелание отрицать покоро-

⁴⁵ Вспоминая о своем выступлении в 68 г. в защиту сенатских традиций и против дворцового принципа престолонаследования, полководец и консулярный Вергиний Руф сказал историку Клувию Руфу: «Разве тебе неизвестно, Клувий, что я сделал то, что сделал, дабы у вас была возможность писать так, как вы хотите» (*Plin., Ep. IX, 19, 5*). Не раз уже упоминавшийся Аквиллий Регул написал историческое сочинение, чтобы разоблачить сенаторов, враждебных Домициану (там же, I, 5, 3). Обе позиции находят в I в. многочисленные аналогии.

⁴⁶ *Cic., De leg. I, 3, 8; De Or. II, 13; Quint., X, 1, 74; Plin., Ep. V, 8, 12; VII, 19, 5; IX, 19, 5; Tac., Ann. IV, 34—35; Suet., Vita Lucani 2—3.*

⁴⁷ С. Л. Утченко, Некоторые тенденции развития римской историографии, ВДИ, 1969, № 2, стр. 68 сл.

тельство Флавиев показывали, что общественные противоположности, в которых протекала римская история I в., выявили для него свою относительность. И цicerоновское понимание общественно-исторических ценностей, и обусловленная им роль слова, эти ценности выражающего и защищающего, и историография раннего принципата, из этого понимания исходившая и им вдохновлявшаяся, оказались ограниченными и изжитыми. «Диалог об ораторах» указывает не только на усиленное изучение Тацитом наследия Цицерона, но также и на то, что это изучение привело его к сдержанной, а в конечном счете и отрицательной оценке общественно-литературной позиции великого республиканского оратора. Из 27 упоминаний его имени в «Диалоге» 11 содержат прямую оценку его творчества и исторической роли, в 9 случаях оценка оказывается отрицательной. Причины этого раскрываются наиболее ясно в конце «Диалога об ораторах» (40, 2—4): «Великое и яркое красноречие — дитя своеволия (*alumni licentiae*), которое неразумные называют свободой; оно неизменно сопутствует мятежам, подстрекает предающийся буйству народ, вольнолюбиво, лишено твердых устоев, необузданно, безрассудно, самоуверенно; в благоустроенных государствах оно вообще не рождается... И в нашем государстве, пока оно металось из стороны в сторону, пока не кончилось со всевозможными кликами и раздорами и междоусобицами, пока на форуме не было мира, в сенате — согласия, в судьях — умеренности, пока не было почтительности к вышестоящим, чувства меры у магистратов, расцвело могучее красноречие, несомненно превосходившее современное, подобно тому, как на невозделанном поле некоторые травы разрастаются более пышно, чем на возделанном. Но красноречие Гракхов не дало нашему государству столь многого, чтобы оно стерпело и их законы, да и Цицерон, хотя и постиг его столь прискорбный конец, едва ли оплатил им славу своего красноречия» (пер. А. С. Бобовича).

Новый строй, возникавший из кризиса республики и упразднивший ее воинствующее политическое красноречие, воспринимался Цицероном как слом извечного, единственно нормального миропорядка (*Cic., Brut. 2, 6—8*), как ошибка или преступление⁴⁸, как ночь и гибель (*Cic., Brut. 96, 330*). Для Тацита принципат с самого своего установления не был ни ошибкой, ни преступлением. «Власть пришлось сосредоточить в руках одного человека в интересах спокойствия и безопасности» (*Hist. I, 1, 1*), и если вследствие этого «великие таланты перевелись» (там же), то отсюда лишь следовало, что каждая ценность истории, ценности республиканского Рима и Рима императорского были чреватые своей противоположностью. Потому-то Цицерона, который этого не ощущал, автор «Диалога об ораторах» и оценивал в общем отрицательно, а в других своих сочинениях, до нас дошедших, фактически не упоминал совсем. Потому же как историк Тацит мог проследивать историческую эволюцию общественных сил, интересы которых он не воспринимал как собственные (*quarum causas procul habeo — Ann. I, 1, 3*), и ни с одной из которых он, таким образом, не мог и не хотел солидаризоваться полностью. Так, уже в «Истории» содержатся полемические выпады против флавянской историографии официального толка⁴⁹, и ряд событий Тацит освещает явно в противовес ей, но не видит никаких оснований всегда отвергать ее данные и оценки. В согласии с ней он обрисовывает теневые стороны людей, в общем ему нравящихся, и вводит положительные моменты в описание лиц, в общем

⁴⁸ *Cic., Lael. 15, 54—55* (если под «безумцем, осыпанным случайными милостями судьбы» имеется в виду Цезарь — см. С. Л. Утченко, Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики, М., 1952, стр. 204 слл.).

⁴⁹ *Tac., Hist. II, 37, 101; III, 28, 1; IV, 85—86. Cp. Jos., B. J. VII, 4, 2; Sil., Punt. III, 607.*

оцениваемых им отрицательно. «Анналы» открываются характеристикой Августа, где темное и светлое сопоставлены, и выбор предоставлен самому читателю. В мрачный образ Муциана вплетены напоминания о его энергии, артистизме, утонченной культуре. Тит Виний, «отвратительнейший из смертных» (Hist., I, 6, 1), как наместник Нарбонской Галлии «управлял порученной ему провинцией с суровой и неподкупной честностью» (Hist., I, 48, 4). Отон при захвате власти «ведший себя как раб» (Hist., I, 36, 3), в других обстоятельствах «был духом решителен и тверд» (Hist., I, 22, 1) и «приобрел у потомков и добрую и дурную славу» (Hist., II, 50, 2) и т. д. Отсюда же возникала и ирония Тацита, привлекающая в последнее время такое усиленное внимание исследователей⁵⁰. При всей его связи с этим сознанием относительности общественных сил принцип *sine ira et studio*, однако, им далеко не исчерпывается. Он обладал у Тацита, по крайней мере, двумя важными особенностями, без учета которых понять все его значение в творчестве историка не удастся.

Прежде всего, представление об относительности основных политических сил времени в сочинениях Тацита возникало не из его взглядов на развитие Рима в течение последнего столетия, но из самого объективного хода этого развития; не из философской установки историка, а из природы исследуемого им объекта. Кризис Римской городской республики в конце II и первой половине I в. до н. э. был кризисом живого и еще достаточно сильного общественного организма. У современников поэтому были основания рассматривать политические конфликты окружающей жизни и перспективы развития Рима, исходя из старинных, но достаточно еще крепких исторических норм города-государства. Цицероновский *rector rei publicae* мог еще мыслиться как правитель единовластный, но всецело опирающийся на традиции городской общины и на их основе преодолевающий кризис республики⁵¹. Сохранение старых республиканских норм в этих условиях не противоречило для Цицерона общественной энергии и динамизму, поступательному развитию римского государства (Cic. *Sest.* XLV, 99 sq.; *Post red. in sen.* VIII, 19), и это представление было не чуждо еще и Цезарю, и даже Августу. Укрепление и консолидация римской мировой державы, однако, вели к углубляющемуся размежеванию гибнущих, хотя и живых еще традиций города-государства и уже берущих верх политических, идеологических, моральных представлений, порожденных взаимодействием племен и народов в рамках империи. Ранний принципат как историческая форма строился на сосуществовании и неустойчивом равновесии традиций римской *civitas*, со всеми ее общинными пережитками, и военно-бюрократической государственной системы, перемальвавшей и эти традиции, и эти пережитки. Он нес в себе оба полюса этого противоречия. Потому попытки оценивать императорский режим с точки зрения какого-либо одного из его полюсов, действительно, вели к поверхностной односторонности и к предвзятости, к «лести или хуле», и, напротив того, восприятие времени в относительности его противоречий с необходимостью порождалось самим ходом истории. Вытекавший отсюда взгляд на взаимоотношения императорской власти и республиканских традиций не был поэтом субъективным, характерным для какого-либо одного мыслителя. На протяжении I в. он высказывался

⁵⁰ E. Koestermann, Cornelius Tacitus — „Annalen...“, Bd. I, Heidelberg, 1963, стр. 9—10; R. Syme, The Historian Servilius Nonianus, «Hermes», 1964, Bd. 92, Hf. 4, стр. 20 сл.; P. Robin, L'Ironie chez Tacite, Lille, 1973.

⁵¹ Cicero, De rep. I, 34, 50—54. Ср. K. Büchner, Studien zur römischen Literatur, Bd. II. Cicero, Wiesbaden, 1962, стр. 25—38; С. Л. Утченко, Цицерон и его время, М., 1972, стр. 251—253.

и Старшим Сенекой⁵², и автором трактата «О возвышенном»⁵³, и неизвестным историком флавиянской поры, отрывки из сочинений которого сохранились у Иосифа Флавия⁵⁴. В этом смысле Тацит стоит в определенном ряду. Неповторимость его как писателя и мыслителя связана не с тем, что он выразил реально-историческую относительность столкнувшихся в его время общественно-политических и идейных сил, но с тем, что он понял при этом, столь же исторически конкретно, и относительность самой этой относительности.

Требование рассматривать завершившийся период римской истории *neque amore et sine odio*, как мы помним, обращено во вступлении к «Истории» лишь к *incorruptam fidem professis* — к тем, кто «объявил о своей решимости хранить верность нерушимой». О верности чему идет здесь речь? Об этом сказано в начале того же вступления: глухота к противоречивой исторической истине и превращение историков в хулителей или льстецов порождено утратой интереса к жизни государства как целого, объемлющего эти противоречия и понимаемого еще в его идеальном полисном единстве — *inscitia rei publicae ut alienae* («неведением государственных дел, которые люди стали считать себе посторонним»). Связь римского мира с полисом, с общиной, с дробностью и внутренней консолидацией хозяйственных и общественных единиц, вечно распадавшихся и вечно сплывавшихся вновь, оставалась непосредственно очевидной как раз до первых десятилетий II в. — до времени, на которое приходится литературная деятельность Тацита. До этого времени поэтому могли длиться и оказывать свое влияние сложившиеся в недрах города-государства ценностные его представления: гражданская солидарность, гражданская ответственность, гражданская доблесть — весь тот круг этических норм, который искони выражался понятием *virtus*. Судьба поставила Тацита на ту грань, на которой римская *civitas* как реальный общественно-политический и социально психологический организм окончательно завершала свое существование, традиции же Римского города-государства и его полисная аксиология объективно могли еще восприниматься как духовная ценность и быть ею⁵⁵. Тацит относился к числу тех, для кого жизненно важна была эта исторически сложившаяся аксиология и ее центральная категория — *virtus*, и именно потому, что он видел растворение ее в становящемся космополитизме Антониновой эры и несоотнесенность с ней ни одной из реальных общественно-политических сил времени, эти силы и представлялись ему неполноценными; именно отсюда возникала возможность рассматривать их *sine ira et studio*. Писать и думать *sine ira et studio* было не выражением безразличия, а верностью *virtus*. Постоянное единство обоих взаимодействующих начал — относительности исчерпы-

⁵² Общая концепция развития римского государства, лежавшая в основе не сохранившейся «Истории» Сенеки Старшего, изложена, как полагают, Лактанцием в *Inst. div.* VII, 15, 14. Отношение Сенеки к императорской власти как к явлению отрицательному, но закономерному и вполне оправданному, выступает в этом изложении совершенно отчетливо.

⁵³ Ср. особенно гл. 44, где совпадение мысли автора с мыслью Тацита в «Диалогах об ораторах» очевидно. Отнесение трактата к середине I в. н. э. основано на аргументации, изложенной в послесловии Н. А. Чистяковой к русскому переводу («О возвышенном», перевод, статьи и примечания Н. А. Чистяковой, М.—Л., 1966, стр. 99: «Его автор был современником Тацита, Петрония, Квинтилиана и Плиния»).

⁵⁴ Jos., *Ant. Jud.* XIX, 1—273. Ср. D. Timpe, *Römische Geschichte bei Flavius Josephus*, «Historia», IX, 1960, Okt. О близости автора отрывка к Тациту — стр. 486—493.

⁵⁵ Развернутую характеристику этого исторического состояния римского общества см. в работах автора настоящей статьи: ВДИ. 1970, № 3, стр. 78—85; 1972, № 3, стр. 41—49 и 59—62; 1977, № 1, стр. 126—127, 135; сб. «История философии и вопросы культуры», М., 1975, стр. 104, 110—112.

вающих себя противоречий римской истории и абсолютного значения ее главного принципа, состоящего в ответственности гражданина за свое государство и перед ним — составляло и итог общественной жизни Тацита, и суть его творчества, их общую основу.

Итак, восприятие Тацитом общественных противоречий раннего принципата как относительных было основано, во-первых, на обнаружении этой относительности в самом объективном содержании исторического процесса и, во-вторых, на уловлении в этом процессе некоторого абсолютного момента, позволявшего выявить ограниченность самой этой относительности и оценить ее. Сочетание этих двух особенностей противопоставляет Тацита всему греко-римскому скептицизму⁵⁶ и делает формулу *sine ira et studio* выражением не релятивизма, а диалектики. Последняя, как известно, на том и основана, что противоречия, их движение и относительность их полюсов раскрываются как факт объективной действительности. «Диалектика головы — только отражение форм движения реального мира, как природы, так и истории»⁵⁷. Обнаружение того, что сама относительность познаваемых процессов относительна и содержит в себе некоторый абсолютный момент, также составляет важнейшую особенность диалектики в ее отличии от релятивизма. «Для объективной диалектики в релятивном есть абсолютное. Для субъективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное»⁵⁸. Более или менее значительные элементы диалектики были характерны для некоторых мыслителей древности: одним из крупнейших диалектиков домарксовской философии Ф. Энгельс называл, например, Аристотеля⁵⁹. Если рассматривать в традиции античной диалектики не только греков — философов, — но также римлян — в том числе поэтов и писателей — сюда надо было бы отнести и Лукреция, и Овидия, и, как мы убедились, Тацита.

Единство относительного и абсолютного моментов ясно ощущается и в его биографии, и в его сочинениях — в его *cursus'е*, таком непросто и сдержанном, но в то же время исполненном искренней верностью Риму и прямом; в его отношении к принципату, в котором он видел закономерный и оправданный этап общественного развития, но и — к принципсам, чью жестокость, аморализм, ограниченность он осуждал; в его ясном понимании того, сколько слабости было во «впечатляющей, но бесполезной для государства смерти»⁶⁰ Корбулона, Тразеи, Гельвидия, Рустика,

⁵⁶ Восприятие противоречий действительности и общественных изменений как поверхностных и относительных было широко распространено на протяжении всей античности. Оно, как правило, сочеталось с представлением о том, что познание их неадекватно глубинной сущности стоящего за ними и их порождающего подлинного бытия. «В сущности мы ничего не знаем, — говорил даже такой мыслитель как Демокрит, — ибо истинное в глубинах» (*Diog. Laert.*, IX, 72). Это умонастроение вызвало к жизни многочисленные и в той или иной мере тяготевшие к релятивизму направления скептической философии. «Окидывая общим взором историю античной философии, мы с большим удивлением убеждаемся в том, что скептицизм пронизывает собой в Греции и Риме художественные произведения, философские трактаты и даже религиозную убежденность» (А. Ф. Лосев, Вступительная статья к кн.: Секст Эмпирик, Сочинения в двух томах, т. I. М., 1975, стр. 5). Софистика Протагора и Горгия, умеренный скептицизм Средней Академии и универсальный скептицизм Пиррона или Энесидема, римский стоицизм с его безразличием к познанию материальной реальности и так называемая вторая софистика составляют непрерывную линию развития, охватывающую период с V в. до н. э. до II в. н. э. На первый взгляд может показаться естественным рассматривать представление Тацита об относительности исторических противоречий как вырастающее из этой столь распространенной в античности философской установки. Приведенный выше материал показывает, однако, что принцип «*sine ira et studio*» у Тацита не имеет ничего общего с этой традицией.

⁵⁷ К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 519.

⁵⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 29, стр. 317.

⁵⁹ См. К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 516.

⁶⁰ Та с., Agr. 42, 4; ср. Ann. XVI, 16, 2: «...tam segniter pereuntes».

но и в его глубоком уважении к ним и ко всем, кто в условиях императорского террора «прожил жизнь, почти не поступаясь свободой»⁶¹. Именно диалектический характер взгляда Тацита на историю позволил ему в его повествовании раскрыть *sine ira et studio* относительность окружавших его исторических сил, т. е. рассказать о них в их живой противоречивости, без назидательности и догматики, но в то же время ясно показать их несоответствие конкретно-исторической моральной норме, рассказать так, как до него не говорил о них в Риме никто, *incondita ac rudi voce* — уже с некоторого отступа и еще изнутри, спокойно и страстно, с той нравственной силой и тем благородством тона, которые вот уже двадцать веков привлекают к нему читателей.

В «Истории» и «Анналах» эта диалектика выступает уже как общий принцип; в частных своих формах она складывалась в предшествующих, ранних, произведениях Тацита: диалектика личности — в «Агриколе», диалектика культуры — в «Германии», диалектика истории — в «Диалоге об ораторах».

ON THE BIOGRAPHY OF TACITUS.
THE PROBLEM OF *SINE IRA ET STUDIO*

by G. S. Knabe

The sincerity of Tacitus' declaration that he was writing history *sine ira et studio* usually provokes suspicion. If considered however in direct connection with the historian's biography this aphorism, in the author's opinion, proves to be neither a rhetoric cliché, nor a political catch-word, but a logical conclusion of Tacitus' development as a magistrate, as a public figure, as a thinker and writer. Three episodes in Tacitus' life are analyzed. First — the Marius Priscus trial where Tacitus adopted a position which didn't fully correspond to the interests either of the majority of the senators, or of the princeps. Second — Tacitus' declaration in the opening chapter of the *Histories* where he refuses to deny the honours conferred on him by the Domitian he hated so much, thus stressing his inner independence from the Antonines, as well as from the Flavians. Finally, the analysis of Tacitus' attitude to Cicero makes clear all the difference between the famous defender of the republic and enemy of the coming imperial régime on the one hand and the historian who understood both the vices of the principate and its historical necessity on the other. In the final section of the article the author insists on the difference between relativism and dialectics — the first merely states the relative character of existing values, the second considers their relativity from the standpoint of a certain norm, thus estimating and judging them. For Tacitus the political forces involved in the conflicts of his epoch — senate and principate, Flavians and Antonines — are relative, but mainly because they no longer correspond to the norm, i. e. to the traditional values of Roman society and, first of all, to *virtus*. Tacitus' approach to history may be thus characterized not as relativist or sceptical, but as dialectical, and the formula *sine ira et studio* — not as an expression of the writer's indifference to the struggles of his time, but as a proof of his having remained faithful to *virtus*.

⁶¹ См. Тацит, *Ann.* XVI, 41, 1: «...vitam prope libertatem acta».